

## АПОФЕОЗ РАЗНОЧИНСТВА (Как Россия говорила с Россией на страницах журнала «Синтаксис»)<sup>1</sup>

*Вера Владимировна Калмыкова*

Кандидат филологических наук,  
член Союза писателей г. Москвы,  
шеф-редактор журнала «Философические письма:  
Русско-европейский диалог».  
E-mail: vkalmykova67@mail.ru

## APOTHEOSIS OF DIVERSITY (As Russia spoke with Russia in the pages of the magazine “Syntax”)

*Vera V. Kalmykova*

Candidate of Philology,  
member of the Union of writers of Moscow,  
chief editor of the journal “Philosophical letters:  
Russian-European dialogue”.

В статье анализируется корпус текстов из журнала «Синтаксис» (ред. Мария Розанова), в которых заметно стремление к диалогу между разномыслящими соотечественниками. Выявлены разнообразные коммуникативные стратегии, являющиеся одновременно речевыми и когнитивными. Они, в свою очередь, помогают осмыслить особенности русского национального характера. Проанализирована разночинская утопия, сформировавшаяся во второй половине XIX в. и без *mutatis mutandis* проявившая себя через столетие. Отмечена связь утопизма мышления с языковым релятивизмом и причины, по которым полемический текст утрачивает диалогический характер, возникает квазидialog. Выявлен ряд особенностей коммуникативной стратегии эмигрантских полемистов, среди которых — нетерпимость к оппоненту, противостоявшая тенденции задаваться вопросами.

The article examines the texts from the magazine “Syntax” (edited by Maria Rozanova), which is much aspiration to dialogue between *raznolikim compatriots*. Various communicative strategies, which are both speech and cognitive, are revealed. They, in turn, help to understand the features of the Russian national character. Analyzed *Raznochinnaya* utopia, formed in the second half of the nineteenth century without muta-

<sup>1</sup> Автор выражает благодарность Алле Головановой, Ефиму Гофману, Павлу Лиону и Лейле Хайне за ценные замечания, сделанные в ходе работы над текстом.

tis mutandis manifested itself through the centuries. The connection of utopian thinking with linguistic relativism and the reasons why the polemic text loses its dialogical character, a quasi-dialog is noted. Revealed a number of peculiarities of communicative strategies immigrant polemicists, among them intolerance to the opponent, the opposing tendencies to ask questions.

**Ключевые слова:** Андрей Синявский, Мария Розанова, журнал «Синтаксис», коммуникативная стратегия, речевая стратегия, диссидентство, утопия, русский национализм, диалог, полемика, западничество, славянофильство, тоталитаризм, права человека, правовое общество, демократия.

**Keywords:** Andrey Sinyavsky, Maria Rozanova, Syntax magazine, communicative strategy, speech strategy, dissidence, utopia, Russian nationalism, dialogue, polemics, Westernism, Slavophilism, totalitarianism, human rights, legal society, democracy.

**Ж**урнал «Синтаксис» (Париж) выходил в 1978–2001 гг. почти исключительно усилиями Марии Васильевны Розановой-Кругликовой, жены политического эмигранта Андрея Донатовича Синявского (1925–1997). Имея явно выраженную не-советскую направленность, издание во всех остальных аспектах вовсе не отличалось идейной однородностью: на его страницах не только присутствовала критика советской идеологии, враждебной для всех авторов, но и велись споры между представителями разных идейных течений в эмигрантской и диссидентской среде.

Выбор для анализа материалов журнала «Синтаксис» из всего обширного корпуса эмигрантской прессы объясняется его идеологической неангажированностью. «Синтаксис» невозможно назвать ни «правым», ни «левым», каким бы содержимым сегодня ни наполнялись эти «пакеты»; ни «западническим», ни «славянофильским», ни принадлежащим еще к какому-либо полюсу или лагерю. Единственное, против чего последовательно выступал журнал, так это *против тоталитарного мышления и способа властвования*. В остальном же он утверждал европейские ценности в виде прав человека и правового общества и в равной степени — идею русского национального возрождения в тех пределах, когда этот процесс не подразумевал уничтожения других народов, стран и культур. Все это делает большинство публикаций интересными и сегодня: парадоксально, но со сменой государственного строя в метрополии, которая вот уже двадцать лет носит наименование Российской Федерации, с принятием новой политической парадигмы, реструктуризацией общества, сменой социальных приоритетов и др. «синтаксические» статьи отнюдь не устарели. В современном политическом дискурсе используются те же понятия, что встречались на страницах «Синтаксиса», и происходит оперирование теми же категориями. Более того, в активизи-

ровавшемся на сегодняшний день дискурсе просоветском поднимаются вопросы, обсуждение которых на журнальных страницах происходило еще до распада СССР, и знакомство с этими статьями могло бы прояснить их — если, конечно, читатель является носителем диалогического типа мышления.

Листая книжки журнала, мы обнаруживаем мощный пласт полемических текстов, темой которых становилось инакомыслие, так сказать, второго порядка, т.е. уже внутри антисоветского лагеря. Глобальный вопрос заключался в том, поощрять разнообразие взглядов или стремиться всеми силами нивелировать его. Такая проблематизация вела за собой и анализ способов построения дискурса, в частности, речевых стратегий, посредством которых он оказывался носителем смысла.

Здесь, правда, следует оговориться: то, что обычно называется *полемикой*, то, что считалось таковым в 1970–1990-е гг. да и сейчас носит то же наименование, то, чем были наполнены эмигрантские издания в указанный период, в эмигрантской прессе зачастую приобретало совершенно иную конфигурацию, которую один из авторов «Синтаксиса», Борис Иосифович Шрагин (1926–1990), назвал *водосточной трубой* в статье «Похвала полемике» (1985, № 15)<sup>1</sup>. Полемика в его понимании — это способ двигаться по пути духовного развития, и полемист не столько подчеркивает свою правоту, сколько допускает, что все предложенные лично им решения и интерпретации неверны или могут оказаться ошибочными. Шрагин имел в виду, что его современники пренебрегают средствами полемики, стремясь отразить в каждом речевом акте истинность собственной точки зрения и уничтожить оппонента — так место шпаги, оружия честной дуэли, занимала водосточная труба. Благодаря полемике, и только ей одной, отмечал Шрагин, культура 1920-х гг., столь прельщавшая ученых более позднего времени (следует заметить: включая и наше), отличалась пестротой, красочностью, множественностью. «Полемика — это высокое искусство, которое предполагает и широту эрудиции, и умение аргументировать, и сарказм, и чувство юмора, и убежденность в жизненной важности своей правоты, и, между прочим, способность спокойно анализировать доводы оппонента. <...> Полемика — это дань уважения чужому мнению. Это — проявление должного уважения и к собственному мнению, это — первый знак, что оно вообще существует. <...> Нет полемики без плюрализма, но нет и плюрализма без полемики. Если уж существуют разные точки зрения серьезных людей по жизненно важным вопросам, то неестественно им сосуществовать как параллельные прямые, которые выходят из неопределенной бесконечности и уходят в нее же, нигде не пересекаясь» (130). Две речевые и ког-

<sup>1</sup> С целью облегчения справочного аппарата источники цитирования, если это статьи из «Синтаксиса», будут указаны в круглых скобках в тексте: при первом упоминании год выпуска, номер журнала и страницы, при следующих — номер страницы.

нитивные стратегии, обозначенные автором, а именно умение аргументировать и анализ чужих доводов, в приведенном пассаже останавливают внимание сразу. Как покажут дальнейшие примеры, обе они, как и многие другие, были присущи далеко не всем русским диссидентам, и оказавшимся за рубежом, и оставшимся в СССР. Справедливости ради стоит оговориться, что большинству авторов «Синтаксиса», безусловно, присуща здоровая полемичность в этом смысле. Однако зачастую они спорили с оппонентами, предпочитавшими авторитарный способ мышления и письма и выбиравшими соответствующие языковые и речевые средства.

Действительно, советские диссиденты порой распространяли вполне *советские* (конечно, не имея соответствующего карательного механизма, но зато применяя азбуку информационных войн) методы и приемы ведения диалога на таких же инакомыслящих, как они сами, сознательно или неосознанно *избегая* полемики, стремясь к утверждению единственной точки зрения — своей собственной. Так возникала и формировалась специфическая коммуникативная ситуация, чрезвычайно интересная во многих аспектах, прежде всего философском — имеются в виду особенности русского национального характера, — но также в историческом, психологическом и социологическом. Как будет показано в дальнейшем, особенность этой ситуации в ее *утопическом характере*.

Диалоги на страницах «Синтаксиса» представлены преимущественно в двух видах. Первый — прямой, сравнительно нечастый: это последовательная, в пределах одного выпуска или в следующем номере, публикация текстов, один из которых содержит некоторый тезис, а второй, соответственно, антитезис. Примерами могут служить диалоги между Л. Ладовым и Амальриком, Эйдельманом и Астафьевым. Второй, преобладающий, — опосредованный: критик анализирует чужое речевое произведение, публицистическое или литературное, и вступает в диалог с ним; точка зрения, ставшая объектом спора, представлена цитатами, т.е. «чужим словом в авторском тексте».

Нет никакого смысла в том, чтобы сегодня выяснять, кто из спорщиков, чьи имена встречаются на страницах «Синтаксиса» (указывая на авторство статей или, в других случаях, на предмет критики, полемики, обсуждения) или изданий, сопоставляемых с ним по времени существования и независимо от места выхода, был прав, а кто ошибался. Правда имела своя у каждого. Можно считать, что политические убеждения — это сложная диалектика разума и веры, не только мировоззрение, но и некоторый импульс, а впоследствии и объективация воли. Однако возможно и другое допущение: политические убеждения, когда они действительно есть, *суть производная только веры, а не разума*, и, как все производные такого рода, не должны оцениваться позитивно или негативно (клевета, козни и наветы рассматриваются обычно по ведомству этики, морали и

нравственности, которых здесь не стоит касаться). Как бы там ни было, в данном случае задача не в анализе каких-либо политических парадигм: представляется важным по возможности выяснить, как осуществлялось приближение к истине, под которой в данном случае будем понимать уже упомянутый *русский национальный характер как некоторую постоянную величину, базу, фундамент для развертывания судьбы народа в исторической перспективе*. Множество способов ведения диалога актуальны и сегодня. Выявить их, по возможности безоценочно, на материале, ставшем уже историческим, небесполезно для прояснения сути национального самосознания как индивидуальной интенции каждого российского гражданина сегодня.

Следует сразу коснуться истории формирования принципов ведения диалога при наличии двух разных точек зрения. Романтический трюизм: язык каждого народа демонстрирует лицо этого народа, его неповторимую физиономию, — следует уточнить: не только язык, но и речь, а значит, и коммуникативная стратегия, способ разговаривать с Другим, осознавая его «Друговость» и не оспаривая права на нее. Предпосылки для «споров до зари», ставших типичной общерусской речевой стратегией со второй половины XIX в., закладывались уже в эпоху наполеоновских войн и позже — в кругу декабристов, т.е. в то время, когда более традиционные для дворянства способы вести беседу отходили на второй план, локализуясь в узко-сословной среде. Стилевой переориентации способствовали два фактора. Первый — постепенное складывание и распространение литературной нормы национального языка, пришедшееся как раз на этот период. Использование родного языка и речи стало более естественным процессом, чем ранее, в эпоху почти тотального распространения французского среди образованных людей. Второй, менее заметный в первую треть XIX столетия, но постепенно становящийся все более значительным, — смена ведущей социальной силы, с дворянской на разночинную.

Исторически в разночинстве было две линии — реформаторская («второй эшелон русского просвещения») и радикальная (Кантор, 2016). Здесь речь пойдет о радикальном направлении. Разночинцы, а позже революционные демократы, радикалы, лишённые множества дворянских предрассудков, ввели в русскую культуру новую коммуникативную стратегию, подразумевающую свободу использования в диалоге целого ряда сильных, эмоционально окрашенных лексических и др. средств, ранее чреватых опасностью: кодекс чести наряду с институтом дуэлей были довольно мощными сдерживающими факторами в плане выбора способа говорения, хотя, конечно, происходило всякое. Вдобавок дворянин ощущал государственный строй как свое-родное, а разночинец указанного типа — как свое-чужое; видимо, не будет преувеличением сказать, что предпосылки для разделения страны и государства (равно как и церкви и Христа) с последующим их

смешением в негативном дискурсе (при котором неприятие власти вело к неприятию страны в целом), характерное уже в XX столетии для некоторых представителей диссидентских кругов, начали закладываться как раз в эту пору. Если декабристы шли на смерть за Отечество, то революционеры-разночинцы, как правило, за революцию (в некоторых, но не во всех случаях — и за последующую свободу). Заметно, что постепенно в мировоззрении самой радикальной части демократического лагеря концепт Отечества как конкретного хронотопа постепенно заменялся безместной революционной утопией (в буквальном переводе «нигде», тем, что существует нигде или нигде *не* существует). Следует еще раз подчеркнуть: это происходило не со всеми. Однако тенденция наметилась и сказалась не только на характере деятельности представителей радикальных кругов, предполагавшей возможность разрушения предыдущих топосов без артикулированной заботы о том, что придет после и кто будет создавать новые комплексы ценностей, но и на ценностном комплексе последующих поколений: большевистская идея мировой революции, также утопичная, возникла не на пустом месте.

Действительно, разночинское предпочтение революции Отечеству отозвалось на истории употребления этого и смежных понятий после большевистской революции. Понятия «отечество», «родина» к 1917 г. остались преимущественно в лексике консервативных кругов и «уехали» в эмиграцию вместе с представителями первой волны. Далее они практически исчезли из активного словаря советского человека и были, как показал Синявский в статье «Русский национализм» (1989, № 26), реабилитированы И. В. Сталиным: «В 34-м году в связи с кампанией вокруг парохода “Челюскин” Сталин торжественно произносит уже достаточно забытое к тому времени слово — *Родина* (выделено автором. — В. К.). Это слово прозвучало неожиданно, поскольку раньше вся официальная идеология строилась на том, что советский человек в своих эмоциях и поступках руководствуется любовью к революции и коммунизму, чувством братства и солидарности с трудящимися всех стран, а не любовью к своему отечеству и к своему национальному корню. Понятия “отечество”, “родина”, “патриотизм” относились к миру призраков дореволюционного прошлого и несли отрицательный привкус старой, царской России. И вдруг все эти слова пришли в движение и получили высшую санкцию — от самого вождя партии и государства» (94).

Связь утопизма с языковым релятивизмом нельзя назвать проблемой, не только решенной, но даже и поставленной в науке. Можно лишь сделать несколько предположений, основанных на физиологии человека, который осознает себя существующим лишь в пределах пространства-времени и по отношению к ним и стремится как можно более точно обозначить в восприятии Других свои координаты. Если же ментально человек устремлен в *нигде* и *когда-нибудь*, то и ре-

чевой портрет его будет характеризоваться необязательностью, нестрогостью выражения. Речевую манеру, внесенную в коммуникативную практику первыми шестидесятниками середины XIX в. и в полноте проявившуюся в их полемике с представителями «чистого искусства», сами они воспринимали как свободу, тогда как их оппоненты — как травму (о чем свидетельствует многолетнее поэтическое молчание А. А. Фета после журнальных сражений). Конечно, пальма первенства здесь принадлежит В. Г. Белинскому, не ограничивавшему себя в выборе слов. Но со временем носителей подобного дискурса становилось все больше. По мере того как рвались связи между культурными людьми и религией, слово утрачивало бытийный статус деяния, хотя провозглашалось иное; слово, направленное на разрушение, не может находиться на аксиологической оси там же, где располагается созидательное слово. Случайно ли, что поколение шестидесятников XIX столетия не дало сколь-нибудь серьезных писателей, чье творчество было бы эстетически состоятельным?.. Об этом сетовали еще советские критики, чьей задачей было доказать обратное, однако за неимением материала приходилось констатировать факты.

Еще писателям предыдущего поколения принадлежали саркастически гневные пассажи, направленные против каких бы то ни было попыток установить среди русских думающих людей *единомыслие* (А. И. Герцен, М. Е. Салтыков-Щедрин и Козьма Прутков ярче других выступили на данной ниве). Эту тенденцию, что характерно, *в восприятии* данных и близких к ним *авторов* тщилось продвинуть государство, чья политика безоговорочно признавалась как антинародная и антипрогрессистская. Однако отсутствие единомыслия само по себе не подразумевает еще диалога в собственном смысле, как словесного обмена (Зунделович, 1930) или, по М. М. Бахтину, как способа познания человека в его бытии. Можно сказать, что речевая стратегия шестидесятников-разночинцев не носила диалогического характера, скорее это была некоторая случайная последовательность монологов, порой накладывавшихся друг на друга. Квазидиалогическая природа революционного дискурса повлекла за собой, например, убийство народовольцами царя Александра II, постепенно выполнявшего требования сторонников реформ в конкретное время в конкретном месте, а не строившего утопическое царство справедливости-нигде. Диалог предполагает как минимум стремление и умение собеседников слушать и слышать друг друга; однако если один из говорящих находится в конкретное время в конкретном пространстве, а другой вненаходим и не укоренен в физической реальности, то у них почти нет шанса договориться, поскольку отсутствует общее поле, как пространственно-временное, так и ценностное. Место диалога в этом случае занимает *квазидиалог*, вполне органичный *в утопическом нигде-пространстве и когда-нибудь-времени*. В утопии жизнь мало чего стоит и умирать, как и убивать, не жалко; абстрактная

ценность, заменившая Родину, революция, эта симулякр-родина-нигде-не-сейчас, требует от своих героев отказаться от конкретики собственного телесного существования и речевого производства, заменяя личностно ориентированное обращение лозунгом, направленным ко всем и ни к кому.

Поверхностная и вместе с тем пространная преамбула необходима, чтобы ввести речевые акты — статьи, опубликованные в «Синтаксисе» и имеющие полемическую направленность, — шестидесятников XX в. и при этом эмигрантов или диссидентов в исторический контекст и понять, что особенности их речевого портрета не случайны и не обусловлены спецификой Советской власти и принципами ее взаимодействия с инакомыслящими. Осталось объяснить лишь, почему в данной статье они названы разночинцами, и здесь важным подспорьем становится статья Марии Розановой «На разных языках» (1980, № 8). Автор писала, что мир Запада для представителей третьей эмиграции был чужим, и единственно родным, единственным подспорьем для выживания в новом пространстве (и вживания в него, что парадоксально) оказывался русский язык и все русское. Меж тем, «столкнувшись с русским зарубежным миром, мы переехали <...> на семьдесят лет назад» (51), в мир, где служили молебен по случаю полкового праздника Девятого драгунского из кирасирских Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полка, Одесское землячество Нью-Йорка приглашало всех земляков и друзей на чашку чаю, а Донские институтки — на пельмени, проводились осенние и проч. балы и др. Все эти примеры взяты Розановой из газетных объявлений. И далее автор статьи делает вывод: «куда бы ни занесла русского человека судьба, и кем бы он ни стал: писателем, инженером, официантом, шофером такси, профессором, его часы, часы его жизни, остановились в ту минуту, когда он уехал из России, и до конца дней, сколько бы он ни прожил, он остается корнетом, поручиком, лицеистом» (56).

Отдав дань завидной верности эмигрантов первой, послереволюционной волны ценностям добольшевистской России, следует вслед тут же задуматься: можно ли быть драгуном без полка и без Ее Императорского Высочества? Лицеистом без Лицея?.. Кто они, титулованные дворяне без земель, полковники без полков, как не — в лучшем случае — разночинцы и, увы, отщепенцы, вместе или порознь населяющие утопию? Мы привыкли говорить, что одессит или петербуржец везде несет с собой и повсюду являет миру свою Одессу или Петербург, что он, являясь носителем мировоззрения, языка, типа речи, в нужный момент использует их как свидетельство своей принадлежности малой родине, будто древний воин — горсть родной земли. Однако это ведь метафора, и Одесса или Москва в Нью-Йорке — утопия, ментальная театральная декорация, порой резко противоречащая действительности. Донская институтка, в обычной жизни служащая машинисткой и лишь по воскресеньям возвращающаяся к традиционным пель-



меням, безусловно, может быть лишь симулякром настоящей донской институтки. Что и проявлялось в реальности, также описанной Розановой опять-таки на языковом уровне. Спор о том, как допустимо говорить — «портшез» или «раскладушка», неминуемо приводил к спору о том, как дозволено описывать реальность и выстраивать аксиологические цепочки. Розанова утверждала, что в стремлении сохранить в целостности дореволюционный русский язык как некоторый хронотоп (что опять-таки парадоксально) сами носители языка коснели в неизменяемой норме, вынужденно застывшей по окончании социального катаклизма, и лишь под влиянием эмигрантов третьей волны ситуация стабильности, читай стагнации, потихоньку менялась в сторону жизни.

Что для Розановой здесь главное? Во-первых, что эмигранты, прибитые к чужим берегам хронологически разными волнами, неспособны понять друг друга, поскольку, говоря на одном языке, говорят на разных, и старшие на полном серьезе доказывают младшим, что Шаляпин лучше Высоцкого, поскольку не хрипел и не кричал. Во-вторых, то, что на прекрасном дореволюционном русском в 1970-е гг. нельзя создать современного стиля, а без этого эмигрантский писатель обречен на бесконечную штамповку бунинско-шмелевско-акмеистических образцов...

Что главное для нас? Пожалуй, то, что революционная утопия не менее и не более способна к бытию, чем унесенная через океан Россия, сжатая в горсти слов. Что утопия всегда остается утопией, симпатичен ли формирующий ее посыл лично нам или нет. И что по самой сути драгуны-официанты или корнеты-шоферы мало чем отличались и от «людей 1860-х годов» (за вычетом крайностей вроде индивидуального террора), и от шестидесятников XX в., поскольку с аналогичной страстью противопоставляли утопию реальности. И одно то, что невольные разночинцы-эмигранты, пребывавшие в утопии, приходили к ней зачастую от противоположных оснований (бывших белых офицеров так же трудно назвать модернизаторами, как революционеров-шестидесятников — охранителями), не отменяет их тождества в сущностном плане.

Утопизм мышления, проистекающий от утопизма бытия, и, как следствие, релятивизм речи, когда неважно, какими словами выразить мысль и как на них отреагирует оппонент, а важно лишь выразить свою точку зрения, единственно верную (а в утопии любая точка зрения единственно верна, поскольку *нигде и когда-нибудь* нет и разности мнений), отмечали сами авторы «Синтаксиса», причем не только в статьях коллег, но и в образе мысли сограждан, бывших или настоящих. Так, Л. Ладов (псевдоним Леонида Александровича Седова, 1934–2018) в статье «Несколько мыслей о России, спровоцированных современными “славянофилами”» (1978, № 2) отмечал, что диссиденты, покинувшие СССР, и демократическое движение в целом понесли «непоправимый нравственный урон» и

показали «нравственную незрелость», «ибо нельзя требовать реформы в своей земле и одновременно жить с девизом “чем хуже, тем лучше”, радоваться неурожаям, мечтать о поражениях и провалах и бежать, если в ответ на первое же твое обращение к властям тебе дарят не парламент, а все те же партсобрания, где тебя “прорабатывают” не оккупанты-марсиане, а твои же “сограждане”, которых почему-то не вдохновляет твоя демократически-правовая утопия» (23).

Итак, главная особенность коммуникативной стратегии ряда эмигрантских полемистов, чьи точки зрения нашли отражение на страницах «Синтаксиса», — нетерпимость к оппоненту, выраженная речевыми средствами. Ей отчетливо и осмысленно противопоставлена другая, имевшая явно выраженную диалогическую природу, а именно манера задавать вопросы в надежде, что по чьей-нибудь доброй воле или «силою вещей» на них найдутся ответы. Вот они, эти вопросы, сформулированные Ладовым-Седовым и в несколько измененных формулировках появлявшиеся в статьях других авторов, склонных разговаривать: «С какой стороны приняться за пестование тех черт русского человека, которые могут сложиться в нечто нравственно приемлемое с точки зрения общечеловеческих идеалов, и за искоренение того отвратительного, что слагается, и уже сложилось, в угрозу как всему человечеству, так и самой России? Как обуздать и в какие русла направить русскую удаль и широту? Чем возместить недостаток в русском человеке дисциплины? Как сделать, чтобы менее разрушительными были русская агрессивность и недостаток любви к ближнему своему? Какие институты должны заменять собой не приживающиеся на русской почве правовые учреждения? Какими реформами семьи и детского воспитания победить неистребимый русский инфантилизм? И надо ли его побеждать, или, может быть, следует строить общество по принципу хорошего детского сада (вместо плохого детского дома или колонии для малолетних преступников, каковым оно является сейчас)? Вот наугад взятые вопросы, которые необходимо решать, прежде чем в приступе очередного нетерпения пускаться в рискованные социальные эксперименты» (32–33).

С точки зрения Ладова, самый большевизм есть порождение русской национальной культуры и характера народа, так сказать, выражение его физиономии. «Глубочайшие корни русского большевизма, как мне думается, надо искать не в лозунгах и идеологических платформах — они-то могут быть по случаю социалистическими, а по случаю православными, — а в отношении к этим лозунгам и к лозунгам, им противостоящим, в терпимости или нетерпимости, в сознании своего как лучшего (неважно, называется ли это лучшее “святым” или “единственно научным”), в подмене фактов эмоциями» (20). Вскрывается парадокс мышления, характерный для жителей любой России — досоциалистической, социалистической или утопической: система взглядов и соответствующая ей система языко-

вых и речевых средств, описывающая идеологию (социалистическую или православную), основывается на механической поляризации всех составляющих мира идей, сведения их к двум областям, «добра» и «зла», при крайней неустойчивости аксиологической шкалы, по которой, в зависимости от автора и его личного ценностного комплекса, любой концепт может быть передвинут с полюса на полюс по праву индивида мыслить субъективно.

Строго говоря, авторы в русской эмиграции разделились на две категории: знающих, «как надо», и не знающих, однако ставящих *вопросы*. Чрезвычайно важным оказалось ещё одно противостояние, на этот раз уже не сущностное, а культурно-историческое. Это традиционный для последних трех с небольшим столетий русский вопрос, что есть Россия — Запад или Восток, и какая парадигма мышления правильнее — западническая или славянофильская. Усмотрев в статье Ладова декларативно выраженную антизападническую направленность («западная ориентация с неумолимой логикой вела к повальному отрицанию всего советского, а далее — и всего русского вообще», 22), Андрей Алексеевич Амальрик (1938–1980) в статье «Несколько мыслей о России, спровоцированных статьей Ладова» (1979, № 3), во-первых, указал, что само западничество — явление строго русское, ибо на Западе западников нет<sup>1</sup>. Во-вторых, он сформулировал две основных западных ценности, необходимые к усвоению в России вне зависимости от характера правящей идеологии: «Россия не станет Западом, но влияние Запада она принимать способна, и хорошо можно проследить развитие двух западных идей у нас за последние два века. Идея правового государства, несмотря на все сопротивление консерваторов, находила себе дорогу, начиная с царствования Екатерины II и кончая Государственной Думой. <...> По-видимому, именно диссиденты нащупали некоторый нерв, указав на “права человека” как на нечто более существенное, чем употребление этого человек на навоз для произрастания на нем мессианских утопий. Может быть, при этом признании самоценности человека и уважении к его праву на достойное существование менее важным покажется вопрос о экономическом и политическом устройстве: будет ли это ограниченная автократия или безграничная игра политических сил, рыночная экономика или государственный социализм» (72).

Здесь артикулирован *фактор человека*, тот единственный предмет, без учета которого и диалог, и построение каких-либо концепций и их соотнесение бессмысленны. Разумеется, концепция человека для авторов «Синтаксиса» ни в коем случае не могла быть одной и той же: здесь также проявляется полярность их взглядов. Борис Шрагин, публикуя пространный анализ творчества Влади-

<sup>1</sup> Интересно отметить особенности бытования понятий. По логике Амальрика, на Западе не должно было бы быть диссидентов, ибо они обязаны своим существованием советской власти, против которой и было направлено их инакомыслие. Однако, приехав в Европу, они оставались в прежнем качестве. Думается, этот фактор, в числе прочих, также обусловлен утопичностью их существования.

мира Максимова, выделил в его сочинениях концепт «нормального человека», представленного писателем как мерило процессов, происходящих в западном обществе и впервые увиденных эмигрантом из СССР, и понятого — во всяком случае в изложении интерпретатора — так: «Он — в центре, а на периферии разворачивается всемирная история, постепенно теряя отчетливость, исчезая в далах прошлого и будущего. Но как же так, — спросят, — как же именно выходец из тоталитарного мира вдруг, оказывается, олицетворяет норму? На каком таком основании?» (1979, № 5, 73). Под «нормальным человеком» писатель, с точки зрения интерпретатора, понимал такого, который, имея твердые социально-нравственные ориентиры, отвергает политический плюрализм на том основании, что этот образ мыслей требует принять и коммунистический, и гитлеровский режим; Шрагин, напротив, трактовал плюрализм мнений как свободу решения, в том числе и решения о восприятии публичного слова, как ту грань, которая отделяет свободный мир от исторических деспотий. Кстати говоря, Борис Ефимович Гройс (р. 1947) в статье «Немного о плюрализме» (1985, № 13) шел еще глубже, доказывая, что плюрализм позволяет допустить множественность миров и истин взамен одной-единственной тотальной концепции бытия, покрывающей все расходы человеческого материала.

В связи с анализом речевых стратегий *разночинцев XX в.* интересно остановиться на анализе стиля «Саги о носорогах» Максимова, проделанном Шрагиным. Критик обратил внимание на обилие в тексте разнообразных негативных слов и выражений, передающих дезавуирующий взгляд автора на реальность как на нечто искаженное, отвратительное, бездуховное, *не должно существовать*. Получается, что «нормальный язык» «нормального человека» и должен выявлять в мире преимущественно черты, подлежащие искоренению. Его задача — обличать и осмеивать, других целей в этом случае не ставится. Плюралистичной концепция писателя, как показывает критик, не является на базовом речевом уровне.

Обратим внимание: разговор о положительном значении плюрализма не подразумевает бездоказательность и переход на личности. Если это происходит, то оказывается собственным стилистическим выбором пишущего, вполне антиплюралистичным, кстати сказать. Так, развенчивая концепцию Максимова, его оппонент Шрагин охотно прибегал и к риторическим, а не исключительно аналитическим приемам: «Но хоть продолжает “нормальный человек” здесь (в западном обществе. — В. К.) исповедовать те же моральные и общественные принципы, которых он придерживался на родине, на Западе он шалает от свободы слова. Он начинает прихварывать недержанием речи» (74). Не лишенный остроумия пассаж ни с какой стороны не похож на аргумент в споре; сразу приходит на ум пассаж Л. Ладова из уже цитированной нами статьи, тоже, кстати, направленной

на развенчание некоторого комплекса идей, в том случае — взглядов Леонида Ивановича Бородина (1938–2011): «Одной из роковых особенностей русского национального духа, по-видимому, является какая-то неизбывная нетерпимость к оппоненту, неумение вести полемику “парламентскими” методами, склонность к очернению и ошельмованию как к последнему и самому вескому аргументу в споре. Таковы мы в быту, таковы мы и в политике, и не слишком трудно проследить, как знаменитые “сам дурак!” или “а еще шляпу надел!” оборачиваются отсутствием демократических и правовых институтов, разнузданной бранью газет, а в революционные времена и залпами чрезвычайек. К сожалению, чудом восставшая из праха в последнее десятилетие<sup>1</sup> русская общественная мысль, еще пребывая в младенчестве, уже демонстрирует все те же опасные свойства. <...> вместо попытки вести спокойный вразумительный диалог» отдельные авторы обнаруживают «слишком уже знакомую большевистскую непримиримость, стремление сразу же размежевать “друга от недруга”, “единомышленника от злоумышленника” (как будто других членений на свете не бывает), определить, кто не с нами, а, значит, против нас» (19–20). Именно после этого пассажа Л. Ладов и ввел концепт большевизма как порождения русского национального способа мышления.

*Отсутствие направленности к плюрализму мнений*, выраженное в выборе речевой стратегии, большинством авторов понималось как *черта русского национального характера*. Русская по происхождению утопия, перенесенная в западный мир, не желала приобретать географическую привязку, укореняться, прекращать быть утопией. Парадоксально оказывалось, что основной принцип построения западного общества, а именно принцип демократический, категорически не устраивал многих эмигрантов-диссидентов, с чего начал статью «Безответственность и недомыслие» русский диссидент, югослав по происхождению Михайло Михайлов (1934–2010): «Жгучую озабоченность за судьбы духовной свободы вызывает у внимательного наблюдателя до сих пор мало осознанный факт, что среди многочисленных эмиграций из всевозможных тоталитарных стран, теперь уже почти со всех континентов, единственно в среде русской эмиграции существует и крепчает с каждым годом антидемократическое течение, принципиально отвергающее право отдельного человека самому решать свою судьбу во всех сферах личной, общественной и государственной жизни» (1983, № 11, 37). В другом выпуске другой автор, Эмиль Исаакович Коган (р. 1941), анализируя статью В. В. Кожина «И назовет меня всяк сущий в ней язык...» в журнале «Наш современник» (1981, № 11), пришел к выводу, что, по Кожину, правовое общество глубоко противно русскому человеку, ибо оно ограничивает свободу духа и устремления...

<sup>1</sup> Следует помнить, что журнал со статьей Л. Ладова вышел в 1978 г.

Плюрализм как парадигма мировоззрения и система отбора речевых средств вызывал негативную реакцию многих авторов, что побудило Андрея Синявского написать известнейшую статью, посвященную устройению нового мировоззрения (1985, № 14). Статья начинается с изложения иной, противоположной мировоззренческой парадигмы, в основе которой — представление о том, что «истина» может принадлежать кому-либо, вооруженному единственно правильным образом мышления, а его противники априори являются носителями «лжи». Отрицая западный плюрализм, идеология нового единомыслия без колебаний отдавала первенство российскому патриотизму. Утверждалось, что российский патриотизм имеет непримиримого врага, коренящегося на Западе, а именно русофобию и русофобов. Далее Синявский касался понятия утопии, связывая его с концептами истины, лжи, патриотизма и врага: «Национализм, как и некоторые другие идейные течения, не является опасностью, а идет на пользу нации, пока не выделяет из себя ядовитый фермент — “врага”, пока для своего процветания и претворения в жизнь не находит себе всемирного антагониста в страшном и тупом понятии “враг”. Так было даже с социализмом, на ранней стадии представлявшимся милой утопией, мечтой фантазеров и филантропов о золотом веке, пока не было найдено и реализовано понятие “классового врага”. Тогда-то утопия, получив мощный толчок, и превратилась в антиутопию победившего социализма, которая для своего поддержания эксплуатировала всегда понятие “врага” и идею всемирного империалистического окружения. Эта идея продолжает действовать и сегодня в Советском Союзе — ради создания всякого рода маний и фобий у народа, пребывающего в сознании сплошного “окружения” и готового к отпору» (18). Здесь, говоря совсем о другом, Синявский коснулся важной черты утопии как симулякра места-времени — стремление захватить территорию, в границах которой существует страна, государство, вытеснив и заменив его собою. Националистический дискурс, если строится с использованием лексемы «враг», перестает работать на продуктивное национальное самописание и в более широком аспекте — на созидание национального характера, движущегося по линейному пути истории. Более того: как только в тексте появляется упомянутая лексическая единица, стиль сразу утрачивает полемичность и превращается в герметичный словесный объем, ни лексически, ни синтаксически не приспособленный для диалога. В подобных случаях, как будет показано ниже на примере анализа «диалога» (точнее, симулякр-диалога) Эйдельмана и Астафьева, диалогическая природа текста не просто уступает монологической: доказательность вытесняется убедительностью, эмоциональная насыщенность заменяет смысловую, и текст, утрачивая жанровую природу, собственно, *утрачивает и смысл*.

Речевая стратегия Синявского в значительно большей степени основана на интерпретации взглядов оппонента, чем у многих других его современников,

включая и авторов «Синтаксиса», хотя эмоциональная насыщенность текста от этого не убавилась. Зато в его упомянутой статье появились и прозвучали как аргумент в споре концепты искусства и культуры, которые, как правило, довольно редко упоминаются в «синтаксических» статьях — за отдельными исключениями. В личностном плане «идеолог» способен уничтожить «художника». Также критик разводил два понятия, национализм культурный и национализм воинствующий, считая, что последний ведет к перечеркиванию, аннулированию не русской даже, а всей мировой культуры.

Отсутствие полемической составляющей в текстах в ряде случаев вело к провалу коммуникации, или к дискоммуникации, или к симулякр-коммуникации. Об этом говорится в статье Синявского «Диссидентство как личный опыт» (1985, № 15) на примере попыток установить диалог с советской властью: они проваливались одна за другой по причине нежелания представителей государства вступать в диалог с тем, кто такого диалога ожидал, желая аргументированно объяснить свою позицию.

Синявский утверждал, что самая главная ценность советского диссидентства, духовно устремленного в *несуществовавшую* до начала 1990-х гг. *несоветскую Россию*, интеллектуально связанного с топосом СССР, а физически (в случае эмигрантов) находившегося на Западе (диссиденты, не ставшие эмигрантами, разумеется, физически присутствовали на родине), есть *разномыслие*: «Лично я считаю, что у нас единства больше чем достаточно. Даже с излишком, в ущерб нашему диссидентству. Ведь диссиденты по своей природе это не какая-то политическая партия и даже не идеология. Отказ от советской идеологии предполагает не только инакомыслие по отношению к этой идеологии, но также разномыслие внутри инакомыслия. Если мы еретики, то ересей должно быть много. И в этом, мне представляется, ценность диссидентства, которое в идеале не зачаток новой церкви или нового, единого антисоветского государства, но плюралистическое общество, хотя бы на бумаге. Я говорил уже, что советские диссиденты по своей природе это интеллектуальное, духовное и нравственное сопротивление. Спрашивается теперь: сопротивление — чему? Не просто ведь советскому строю вообще. Но — сопротивление унификации мысли и ее омертвлению в советском обществе. И если мы хотим, чтобы вольная русская мысль, вольное русское слово и культура развивались, нам необходимо разномыслие. Это важнейшее условие развития русской культуры. Почему на Западе возможно разномыслие, а у нас, у диссидентов, не может быть и не должно быть разномыслия? Мы такие же, между прочим, люди. С зачатками разума, правосознания...» (№ 15, 141). Достичь цели де-унификации мысли возможно, лишь уделяя внимание пластическим возможностям языка, а значит, меняя и комбинируя все те же речевые стратегии, чутко следя за расформированием клише, норвящих, как знает каждый

автор, мгновенно образоваться, подобно мозолям на коже, на самых «рабочих» участках организма текстообразования...

Тенденцию к унификации мысли не только Синявский, но и многие его единомышленники связывали с национально-авторитарным русским проектом, предполагающим особый мессианский путь России и основанным на конспирологической утопии «западного врага»-русофоба. Справедливости ради надо отметить, что враг далеко не обязательно должен находиться на Западе; его локализация возможна в любой из союзных республик (вспомним, что речь идет об СССР), обступающих мистическое тело России и питающихся его соками. Об этом вел речь Натан Яковлевич Эйдельман (1930–1989) в письме к Виктору Петровичу Астафьеву (1924–2001), касавшемуся некоторых тем в творчестве этого писателя.

Проанализируем структуру письма Эйдельмана как речевого произведения. В начале письма стоит обращение: «Уважаемый Виктор Петрович!» Затем адресант рассказал о себе. Следом дал весьма высокую оценку произведениям адресата. После чего перешел к непосредственному предмету послания, а именно анализу чувства ненависти Астафьева к тем, кого писатель считал повинными в гибели, распаде, бездуховности, царящих в России, а именно к «интеллигентам» и иностранцам. Показывая их губительное воздействие, Астафьев прибегал к уничижительным средствам речи, обладающим суггестивной семантикой: «неприятное», «барственность», «надоевший», «обломанный», «торчит», «с пренебрежением», «обдирая», «жадный», «безграмотный», «распоясан», «с растопыренными карманами», «от невытых рук», «швыряет деньги», «пресмыкание». Враг, таким образом, отвратителен; но враг ли он — вот каким вопросом задавался Эйдельман. И имеет ли право представитель другого народа описывать в подобной манере другой народ, прибегая к обобщениям и обвинениям в собственных несчастьях? В заключение Эйдельман взял на себя смелость сформулировать «главный закон российской мысли и российской словесности»: «Закон, завещанный величайшими мастерами, состоит в том, чтобы, размышляя о плохом, ужасном, прежде всего, до всех сторонних объяснений, винить себя, брать на себя; помнить, что нельзя освободить народ внешне более, чем он свободен изнутри <...>. Что касается всех личных, общественных, народных несчастий, то чем страшнее и сильнее они, тем в большей степени их первоисточники находятся внутри, а не снаружи. Только подобный нравственный подход ведет к истинному, высокому мастерству. Иной взгляд — самоубийство для художника, ибо обрекает его на злое бесплодие» (1987, № 17, 84). В конце письма перед подписью стоит фраза: «Прошу прощения за резкие слова...», после следует подпись: «С уважением Н. Эйдельман».

Ответ Астафьева начинается с эпитафии, русской пословицы («Не напоивши, не накормивши, добра не сделавши — врага не наживешь»), в которой употре-



блена ключевая, как видно из дальнейшего текста, лексема «враг». Обращение «Натан Яковлевич!» (без эпитета, обозначающего уважение). После чего идет утверждение Эйдельмана на позиции врага русского национального возрождения, без которого, как следует из текста, возрождение как проект не состоится: «кругом говорят, отовсюду пишут о национальном возрождении русского народа, но говорить и писать одно, а возрождаться не на словах, не на бумаге, совсем другое дело. У всякого национального возрождения, тем более у русского, должны быть противники и враги» (85). Далее идет пассаж о национальной принадлежности будущих отечественных авторов, построенный с использованием модальных слов и глаголов будущего времени: «Возрождаясь, мы **можем** дойти до того, что **станем** петь свои песни, танцевать свои танцы, писать на родном языке, а не на навязанном нам “эсперанто”, “тонко” названном “литературным языком”. В своих шовинистических устремлениях мы **можем** дойти до того, что пушкиноведы и лермонтоведы у нас **будут** тоже русские, и, жутко подумать, — собрания сочинений отечественных классиков **будем** составлять сами, энциклопедии и всякого рода редакции, театры, кино тоже “**приберем** к рукам” и, о ужас! о кошмар! сами **прокомментируем** “Дневники” Достоевского» (там же; выделено мною. — В. К.). Разумеется, это отсылка к профессиональной деятельности Эйдельмана, автора многочисленных исследований по русской истории и культуре. Модальные слова и обилие глаголов будущего времени рисуют желательную, но не реализованную картину мира, причем интересно сопоставление модальных конструкций: «должны быть враги» (утверждение) — «можем... будем» (гипотеза). Получается, что враг неприменим, а возрождение запроектировано, но предположительно.

После этого Астафьев перешел уже непосредственно к инвективе, построенной на оскорбительной лексике: «Ваше черное письмо, переполненное не просто злом, а перекипевшим гноем еврейского высокоинтеллектуального высокомерия (Вашего привычного уже “трунения”» (Там же). В письме присутствуют две разрозненных отсылки к жизненному опыту адресата («глаз зрячий один, оттого и пишу на клетчатой бумаге, по возможности кратко»; «За почерк прощения не прошу — война виновата», 86), никаким образом не связанные с сюжетом, не несущие информационной нагрузки, но, как можно предположить, служащие намеками на неучастие Эйдельмана в Великой Отечественной войне (будучи 1930 г. рождения, историк физически не мог в ней участвовать). После этого Астафьев выразил заботу о душевном здоровье оппонента: «Более всего меня в Вашем письме поразило скопище зла. Это что же Вы, старый человек, в душе-то носите?! Какой груз зла и ненависти клубится в вашем чреве?» (там же). Далее адресат упоминал о бесчестии и лжи, в частности, в связи со сменой еврейских фамилий на русские, о последних днях царской семьи, о ее убийце «сионисте» Юровском

в связи с его еврейским происхождением (как известно, носителем идеологии сионизма Юровский не был) и о Ежове, как видно из контекста, нарком. Письмо заканчивается заботой об «утишении» и просвещении души адресанта и неспособности русского народа. Подпись отсутствует.

Следует проанализировать, соответствует ли ответ Астафьева тем критериям, которым по умолчанию должен подчиняться адресат, согласившись отреагировать на письмо. Основной, по-видимому, становится формально-содержательная сторона, предполагающая в том или ином смысле ответ на поставленные вопросы. В этом заключается суть эпистолярного жанра. Однако в случае Астафьева подобного явно не происходит. Черты его стилистики — 1) риторичность, 2) приверженность к жанру инвективы. Он не развенчивает взгляды оппонента, не спорит с ними, используя фактический материал или логические приемы. Напротив, Астафьев предпочитает риторику информативности, а жанру письма — жанр инвективы. Разрывая границы естественно предполагаемой коммуникативной ситуации (адресант — адресат, вопросы адресанта — ответы адресата), он пишет, по сути, не письмо: парадоксально, но Астафьев создал речевую ситуацию, в которой диалог утрачивает диалогичность.

Жанровая невыдержанность данного произведения, подмена логики риторикой оказывается еще одной речевой стратегией, принятой во многих изданиях, и далеко не только эмигрантских, но и советских, и постперестроечных во время издания «Синтаксиса».

Итак, *враг*. Приснопамятное со сталинских времен понятие, трансформировавшееся в послесталинскую эпоху; врагами народа, сначала вненациональными, а затем приобретшими национальную окраску, пугали русский народ и в 1930-е, и в 1960-е гг., и, как мы видели, позже. На практике оказывается, что в реальной, а не утопической отечественной истории это понятие неразрывно связано с другим, а именно — с «патриотизмом». Чтобы понять природу явления «враг народа», стоит обратиться к статье Синявского «Русский национализм» (1989, № 26), о которой выше уже заходила речь. В ней автор вступает в диалог уже не с конкретными личностями, а с имперсональным аксиологическим комплексом, определявшим мировоззрение и поведение многочисленных социальных групп. Первая среди них та, что ориентирована на патриотизм как главную составляющую менталитета. Синявский видел исток русского национализма в имперском характере государства — как царской России, так и СССР, — и отмечал, что «откровенно националистическая доктрина» вступала «в конфликт с национальным самосознанием других народов» (91). Ранний советский патриотизм поначалу был в большей степени интернационализмом и зиждился на невероятных всемирных перспективах, открывшихся перед советской нацией после большевистской революции. Определенный перелом слу-

чился в 1937 г., когда было отпраздновано 125-летие Бородинской битвы: раз русский народ победил всеевропейскую армию Наполеона, значит, он «лучше и сильнее» (95) французского народа. Так началось зарождение уже не патриотизма, а шовинизма. Потом, со второй половины 1940-х гг., развитие этого концепта основывалось на возросшей политической и военной мощи Советского Союза.

Синявский подчеркивал, что советские реалии, в том числе раскулачивание, затмевались утверждениями о приходе всеобщего величия, могущества и счастья. Утопические по своей природе (как мы знаем и как напомнил автор, в 1934 г. закончилось раскулачивание и началось закабаление колхозного крестьянства, поставившее большинство населения страны в крайне тяжелые условия прежде всего гражданской жизни), эти лозунги не допускали в сознание малограмотных людей иных, более реалистических концепций<sup>1</sup>.

Причина того, что интернационализм сменился национализмом (а тот, в свою очередь, шовинизмом), лежит гораздо глубже, чем можно предположить исходя из анализа прорусских пристрастий руководителя государства Сталина. «Предпосылка великодержавного шовинизма, сменившего интернационализм, коренится в закрытом характере советского государства»: «развивать интернационализм в государстве закрытого типа нельзя или очень трудно» (97). Закрытость советского государства для внешних воздействий и даже для обмена информацией, отчужденность от несоветского мира порождала ситуацию, при которой возникали и укоренялись искаженные, вплоть до фобий, представления о жизни за границами страны.

Синявский отметил важную черту русского национального характера: «Разумеется, всякий народ любит свое отечество. Но у русских это носит подчас характер мистической привязанности к чему-то очень широкому и до конца не проясненному, даже необъяснимому. Русский патриотизм готов привязаться к чему угодно, лишь бы под этим чем-то подразумевалась или просвечивала родина. <...> Родина для русских порою настолько сверхличное и даже сверхнациональное начало, что переходит иногда в своего рода религиозное чувство. Государство использует это чувство и его эксплуатирует, но чувство это шире любых материальных идолов. Поэтому, кстати сказать, эти идолы меняются, а суть остается. И как это свойственно религиозному сознанию, русский патриотизм нередко граничит с мессианизмом. То есть состоит в том, что Россия несет или призвана нести в мир какую-то высшую идею. Какую именно — не всегда известно. Но непременно — высшую» (98–99). Автор закончил свою статью выводом о

<sup>1</sup> В данном контексте уместно вспомнить теорию коллективных грез, разработанную философом и писателем Александром Мотелевичем Мелиховым, однако подробное сопоставление концепций Синявского и Мелихова выходит за рамки настоящей статьи.

том, что русский национализм чреват насилием и противостоит не коммунистической идеологии, а демократии и Западу в целом<sup>1</sup>.

В данной работе не раз говорилось о двух больших группах советских диссидентов: это 1) эмигранты, по политическим соображениям живущие на Западе, и 2) граждане СССР, высказывавшие антигосударственные соображения. После снятия железного занавеса появилась и третья категория — ранее лояльные к власти советские граждане, обнаруживающие при всем том тенденцию к преодолению последствий руководства страной по-советски и к стиранию ментальных границ между метрополией и зарубежьем. Очная встреча представителей всех трех групп состоялась в марте 1988 г. под Копенгагеном, в музее «Луизиана» на конференции «Роль творческой интеллигенции в процессе реформ в Советском Союзе и перспективы на будущее». Обзор конференции под названием «Перестройка и перестрелка. По мотивам Луизианской конференции — с приложениями и отступлениями» сделан Марией Розановой (1988, № 21). Розанова отмечала смену в СССР отношения к эмигрантам, которых ранее воспринимали как «врагов народа», а теперь готовы сесть с ними за круглый стол, и переход от монологов к диалогам как знамение времени. Вместе с тем ее озаботили и напугали даже не слова выступавших с той или иной стороны, а отдельные интонации, превращавшие участников «с другой стороны» в подсудимых. Ее призыв «давайте учиться разговаривать» (5) на зыбкой почве «доверия и интереса» подкреплялся большим корпусом цитированных в отчете выступлений и публикациями отдельных докладов. И активнее всего Розанова проводила мысль о праве каждого на личный выбор («каждая человеческая особь есть величина самостоятельная», 16), обуславливающим поведение, взгляды, предпочтения, выбор речевых жанров и стратегий, что делало, кстати сказать, «Синтаксис» весьма непопулярным в среде эмиграции и у читателей метрополии.

На деле оказалось, что личная свобода, подразумевающая личную же ответственность, русским человеком, даже борющимся с тоталитарным режимом, не так уж активно востребована. Интересно сказать в этой связи, что, покинув СССР ради достижения свободы, некоторые эмигранты-диссиденты, оказавшись на Западе, предпочли национал-авторитарную модель, согласно которой личная свобода осуществлялась только в русле соответствующей идеологии. То же можно сказать и о тех, кто никогда не покидал родины или вернулся в Россию при первой возможности. Таков еще один из парадоксов российской мысли.

---

<sup>1</sup> Ряд утверждений авторов «Синтаксиса» могут быть напрямую восприняты сегодня как не потерявшие актуальности, но восприятие других все же требует поправки на время. Сегодня термины «демократия» и «либерализм» скомпрометированы реальной практикой российского бытования соответствующих явлений и теми гротесковыми формами, которые они приняли на Западе. Однако Андрей Синявский, разумеется, не может нести за это ответственность.

В статье Анатолия Ивановича Стреляного (р. 1939) «Лязг клинков» (1988, № 22) об одном из аспектов российского понимания свободы сказано так: «Подразумевается, что чуть ли не главный враг нравственности — свобода. Где свобода, там своеволие личности, бесстыдный индивидуализм. Положительная программа <...> гласит, что нравственности нет без религии, без дисциплины, без твердой власти. Некоторые представители этого умонастроения отличаются <...> принципиальной непросвещенностью, а коль так, то их выступления начинают носить, в условиях гласности, одиозно-ретроградный характер. <...> На меня, — пишет далее автор, — сына крестьянки, особое впечатление производит то, как они идеализируют организационно-хозяйственные устои, особенно совместное владение землей, которую крестьянин не мог ни купить, ни продать и которая периодически переделывалась соответственно числу едоков в семье. В этом они видят непреходящее благо, отказ от которого постепенно приводит к тому, что народ превращается в население» (12).

Продолжая логику Стреляного, можно сказать, что в изображении идеалистов русская деревня — такая же утопия, вневременное образование, как и другие утопии, порожденные русским сознанием в пределах и за пределами границ страны. Идеал общины, служивший предметом восхваления сторонников сохранения традиционного принципа организации крестьянской жизни, автором также ставится под сомнение, поскольку форма рабства не может превратиться в форму братства при нормальных товарных отношениях.

Стоит вспомнить статью Л. Ладова, в которой говорилось о необходимости дисциплинировать стихийную, неконтролируемую мощь русского народа, направив его энергию в созидательное русло. В подобных переключках осуществлялся диалог между различными авторами, не имевшими, должно быть, в виду личной беседы.

Основные черты русского национального характера Стреляным видятся так. Во-первых, это знак русской судьбы — постоянный выбор путей развития и движения. Во-вторых, в любом деле русского человека интересует не практическая сторона, как западного, но нечто высшее: «Ко всему, что не идеальное, не обещает решения сразу всех вопросов, имеет какой-то изъян, он относится равнодушно или враждебно. <...> ...Мы неисправимы, нам надо так или эдак покорить мир, нам надо быть в нем великими. Что сулит нам будущее — величие или ничтожество, как избежать ничтожества, смертельно опасного для всего мира, и как обеспечить себе спасительное величие, — вот наш главный спор» (14).

И вновь обратимся к Л. Ладову: «России необходимы думающие “обыватели” — этакие канты, гегели и парсонсы, по которым можно сверять часы, но которые, вместе с тем, спокойно, без истерии и эсхатологического визионерства, помогли бы осмыслить существующее и устроить жизнь на разумных началах»

(№ 2, 34). Жертвенное стремление к лучшему, бескорыстная жажда собственной красоты и величия — в его представлении черты, не позволяющие народу осуществить его историческую судьбу. Гораздо ближе к этой задаче стоят, с точки зрения Л. Ладова и Григория Соломоновича Померанца (1918–2013), также «синтаксического» автора, интеллектуалы, возвращенные в библиотеках.

Продолжает тему врага публикация выступления Кронида Аркадьевича Любарского (1934–1995) «Перестройка и эмиграция» (1988, № 24) на конференции в Барселоне все в том же 1988 г. Он отмечал эволюцию взглядов на политэмигранта: если в советское время он расценивался как продавшийся на Запад враг, то в конце 1980-х гг. — как трус, бросивший родину в трудное для нее время. Формула эта также порочна; многие эмигрантские судьбы отмечены лишением свободы или преследованиями. Однако в то время российское сознание начало уже если не физически, то хотя бы ментально допускать до себя произведения бывших эмигрантов, причем не только умерших (Андрей Тарковский), но и живых (Юрий Любимов, Владимир Войнович, Наум Коржавин). Однако Любарский настаивал, чтобы реабилитация касалась людей не только знаменитых. Возвращать на родину тех, кто вынужден был по тем или иным причинам покинуть ее, нужно не потому, что они выдающиеся писатели или режиссеры. Единственная причина в том, что против них творилось беззаконие, допускалась несправедливость по отношению к любому человеку вне зависимости от его общественного веса.

С конца 1980-х — начала 1990-х гг., когда политический строй в нашей стране сперва начал меняться, а затем и сменился окончательно и радикально, трансформировалась и направленность статей «Синтаксиса». Теперь в основном здесь публиковались статьи, посвященные анализу наступавшей новой социальной реальности. Вышедшие до 2001 г. книжки журнала интересны и заслуживают пристального внимания и глубокого изучения, ведь М. В. Розанова предприняла смелую и удачную попытку интеграции издания с сохранением его первоначальных принципов в иное ментальное пространство. Однако это должно стать предметом специального исследования. Пока же следует подвести итоги сказанного, оставаясь в рамках заявленной темы.

- Журнал «Синтаксис», представляя собой политически неангажированное эмигрантское издание, и сегодня дает материал для анализа коммуникативной ситуации между разномыслящими российскими гражданами и социальными группами.
- На его страницах последовательно реализовывались принципы построения полемического дискурса как средства познания человека в бытии. В основе дискурса этого типа лежат два принципа: 1) умение аргументировать, 2) анализ чужих доводов. Только при наличии обоих факторов полемика становится

одной из разновидностей диалога и способствует познанию. В иных ситуациях тексты, полемические по форме, не могут считаться таковыми по сути. В закрытой системе возникает квазидialog, текст утрачивает жанровую природу и смысл.

- При смене господствовавшего в XIX в. культурного типа с дворянского на разночинский произошло изменение коммуникативных и языковых стратегий, из-за чего в речи появились новые средства, в известном смысле разрушающие принципы полемики. Уже в то время этот склад мышления носил утопический характер, поскольку концепт Отечества постепенно заменялся концептом революции, самоценной, а значит, безместной. Утопизм связан с языковым релятивизмом, при котором главным оказывается собственное высказывание, а не реакция на него оппонента.
- Разночинство как явление, сформировавшееся в середине XIX в. и волею обстоятельств возродившееся в эмигрантской среде и первой, и второй, и третьей волны, характеризовалось определенным складом мышления, на характер которого также влияла утопия, нигде, кроме сознания своих носителей, не существовавшая. Матрицей для утопии могла стать как дореволюционная Россия, так и обессовеченная Россия, развивающаяся по принципам национального авторитаризма.
- Главная особенность коммуникативной стратегии ряда «полемистов», упомянутых на страницах «Синтаксиса», — нетерпимость к оппоненту, выраженная речевыми средствами. Ей противопоставлена другая, явно диалогической природы, а именно стремление задавать вопросы (таково большинство авторов журнала). Как только эта тенденция отмирает, в русском национальном характере начинает преобладать «большевизм», коренящийся в его природе, а в коммуникативной практике — поляризация ценностей по шкале «хороший — плохой».
- В споре между «западниками» и «славянофилами» XX в. приоритетами первых оказываются такие европейские ценности, как правовое общество и права человека. Второе политико-культурное направление придерживается концепта мессианского пути России как приоритетного, однако преимущества подобной парадигмы мышления в плане жизни и достоинства отдельного человека проблематичны.
- Важным пунктом, по которому между эмигрантскими авторами пролегал непреодолимый водораздел, оказался плюрализм как система взглядов, предполагающая прежде всего право отдельного человека на организацию собственного высказывания и собственной судьбы. Позиция «Синтаксиса» — утверждение разномыслия как высшей социально-коммуникативной ценности. Тенденция к унификации мысли связана с утопическим национально-авторитарным

проектом, порождающим, помимо этого, и образ врага, на роль которого чаще всего определяется или «интеллигент» как носитель Другого типа мышления, или «инородец».

- Еще один камень преткновения между русскими людьми, принадлежавшими к разным ментальностям, — отношение к свободе. Далеко не всякий оказался способен принять ее как способ самоосуществления при полной ответственности за свои слова и действия: оказалось, что для многих предпочтительнее мыслительная деятельность в пределах единственной парадигмы. Также анализ «синтаксических» статей показывает, что в последнем случае, при выборе единомыслия, а не разномыслия, оптимальной парадигмой стала опять-таки национально-авторитарная.

### Литература

- Барбакадзе М. Ш. Леонид Седов о самиздате и диссидентстве // Антология самиздата. URL: <http://antology.igrunov.ru/stories/1127572444.html> (дата обращения 06.03.2029).
- Горбачева Е. Ю., Мигулина А. В. (2016). Эпистолярный жанр в историческом контексте // Молодой ученый. № 28.1. С. 6–8. URL <https://moluch.ru/archive/132/36777/> (дата обращения: 08.03.2019).
- Зунделович Я. О. (1930) Диалог // Литературная энциклопедия: В 11 т. [М.]: издательство Коммунистической академии, Советская энциклопедия, Художественная литература. Т. 3. Стб. 267–270.
- Кантор В. К. (2014). Русская классика, или Бытие России М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив.
- Кантор В. К. (2016). «Срубленное древо жизни»: Судьба Николая Чернышевского. М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив.
- Лотман Ю. М. (1994). Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). СПб.: «Искусство–СПБ».
- Назарчук А. В. (2009). Теория коммуникации в современной философии. М.: Прогресс-Традиция.
- Ратькина Т. Э. (2010). «Никому не задолжав...»: Литературная критика и эссеистика А. Д. Свияжского. М.: «Совпадение».
- Craig, R. (1999). Communication Theory as a Field // Communication Theory. Blackwell Publishing Ltd.; International Communication Association, May. Vol. 9. P. 119–161.



**References**

- Barbakadze M. SH.* Leonid Sedov o samizdate i dissidentstve // Antologiya samizdata. URL: <http://antology.igrunov.ru/stories/1127572444.html> (data obrashcheniya 06.03. 2029).
- Gorbacheva E. YU., Migulina A. V.* (2016). Ehpistolynyj zhanr v istoricheskom kontekste // Molodoj uchenyj. № 28.1. S. 6–8. URL <https://moluch.ru/archive/132/36777/> (data obrashcheniya: 08.03.2019).
- Zundelovich YA. O.* (1930) Dialog // Literaturnaya ehnciklopediya: V 11 t. [M.]: izdatel'stvo Kommunisticheskoy akademii, Sovetskaya ehnciklopediya, Hudozhestvennaya literatura. T. 3. Stb. 267–270.
- Kantor V. K.* (2014). Russkaya klassika, ili Bytie Rossii M.; SPb.: Centr gumanitarnyh iniciativ.
- Lotman YU. M.* (1994). Besedy o russkoj kul'ture. Byt i tradicii russkogo dvoryanstva (XVIII — nachalo XIX veka). SPb.: «Iskusstvo–SPB».
- Nazarchuk A. V.* (2009). Teoriya kommunikacii v sovremennoj filosofii. M.: Progress-Tradiciya.
- Rat'kina T. EH.* (2010). «Nikomu ne zadolzhav...»: Literaturnaya kritika i ehseistika A. D. Sinjavskogo. M.: «Sovpadenie».
- Craig, R.* (1999). Communication Theory as a Field // Communication Theory. Blackwell Publishing Ltd.; International Communication Association, May. Vol. 9. P. 119–161.